

Н. Д. КОЧЕТКОВА

РАДИЩЕВ И ПРОБЛЕМА КРАСНОРЕЧИЯ  
В ТЕОРИИ XVIII ВЕКА

Свое представление об ораторе Радищев передает в следующих словах: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народных. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самая смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии» (I, 387). Этот небольшой отрывок из «Слова о Ломоносове», завершающего «Путешествие из Петербурга в Москву», во многом помогает понять отношение писателя к проблеме красноречия. Прежде всего очевидно, что такая проблема для Радищева существовала. Просветительская вера в могущество и действенность слова делала эту проблему чрезвычайно насущной. Восхищаясь красноречием Ломоносова, Радищев замечает, что ораторский дар дает ему «право неограниченное действовать на своих современников» (I, 388). Перечень имен в приведенном выше отрывке показывает также, что автор «Путешествия» проявляет живой интерес к современным ему ораторам — они названы рядом с «хрестоматийными» Цицероном и Демосфеном.

Говоря о заслугах Ломоносова в области красноречия, Радищев вспоминает своего соотечественника и современника — митрополита Платона Левшина. Здесь же писатель размышляет и о дальнейшей судьбе русского ораторского искусства. Не находя еще достойного преемника Ломоносова, Радищев высказывает надежду на его появление в будущем: «И кто? он же, пресытившись обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник» (I, 389). Характерное для Радищева отношение к красноречию как к литературному делу было связано с целой традицией, сложившейся в России в течение XVIII в.

Выступая со статьей «О российском духовном красноречии», А. П. Сумароков заявлял: «Во проповедниках вижу собратий моих по единому их риторству, а не по священству».<sup>1</sup> Этим писатель утверждал свое право судить о характере и качестве проповеди с литературной точки зрения. Формирование новой литературы было одним из следствий секуляризации всей русской культуры. Однако духовная литература в XVIII в. продолжает существовать наряду со светской, сохраняя свою специфику и вместе с тем являясь важным компонентом, частью общего литературного движения. Проповедь уже со времен Феофана Прокоповича приобретает публицистические черты, и в дальнейшем русское духовное красноречие развивается в постоянном взаимодействии с красноречием гражданским. Ораторская проза занимает одно из самых почетных мест в жанровой системе русского классицизма, и теоретические труды Ломоносова («Краткое руководство к риторике» 1743 г. и «Краткое руководство к красноречию» 1748 г.) представляют собой не столько итог, сколько программу на будущее — программу, принятую несколькими последующими поколениями.

Почти все крупнейшие русские писатели XVIII в. от Ломоносова до Фонвизина и Карамзина обращаются к ораторской прозе в своей литературной практике. «Слово» или речь становится так же «показательно», как ода: чем традиционнее жанр, тем ярче проявляется оригинальность писателя, выступающего в этом жанре. Вместе с тем в отличие от оды ораторская проза привлекала к себе внимание и тех, кого нельзя назвать писателем в собственном смысле слова. Учиться искусству красноречия заставляла прежде всего общественная жизнь России XVIII в.: основание Московского университета, работа Комиссии по составлению проекта нового Уложения, образование политических группировок, оппозиционных по отношению к правительству. Замечательные ораторы выдвигались из среды университетских профессоров, участников Комиссии, государственных деятелей. Их речи и выступления — тоже часть литературы, и именно так они воспринимались в начале XIX в. «Издание профессорских речей, — говорилось в «Уведомлении» к собранию речей профессоров Московского университета, — лучших своего времени прозаических сочинений, может служить дополнением к истории отечественной словесности».<sup>2</sup>

К 1780—1790-м гг. сформировалась определенная культура русского гражданского красноречия. Эта культура опиралась и на национальную традицию, включавшую и духовное красноречие, и на опыт европейских стран, прежде всего Франции, выдвинувшей замечательных ораторов в годы революции.

<sup>1</sup> Сумароков А. П. Полн. собр. всех соч., т. VI. М., 1781, с. 295.

<sup>2</sup> Речи, произнесенные в торжественных собраниях императорского Московского университета русскими профессорами оного с краткими их жизнеописаниями, ч. I. М., 1819, с. 2.

Таким образом, проблема красноречия, стоявшая перед Радищевым, была проблемой эпохи, проблемой, приобретавшей в России особенно большую остроту в связи с ростом национального самосознания. Фонвизин, к сочинениям которого Радищев, как известно, относился с живейшим вниманием и интересом, устами Стародума высказывает несколько принципиально важных соображений по этому поводу: «Размышлял я, отчего имеем мы так мало ораторов? Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается».<sup>3</sup> Фонвизин убежден, что отечественное красноречие могло бы обнаружить свою силу, «если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих».<sup>4</sup>

Эти идеи Фонвизина были, по-видимому, достаточно близки и Радищеву. Оба писателя подходили к проблеме красноречия с позиций публициста, с позиций политического борца. Для автора «Путешествия» вопрос о свободе слова имел исключительно важное значение. Несколько перефразируя Тацита, Радищев писал: «Если свободно всякому мыслить, и мысли свои объявлять всем безпрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов, — переходил писатель к смелому выводу, как бы продолжающему мысль Фонвизина, — удалиться от стези правды, и убоятся; ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся» (I, 335). Видя в слове не только моральную силу, но и политическую, Радищев стремится овладеть этой силой, чтобы «соучастником быть во благодействии себе подобных».

На первый взгляд кажется странным скептическое отношение писателя к любого рода руководствам по красноречию и риторическим правилам. В «Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищев весьма иронически отзывался о духовном наставнике русских студентов в Лейпциге: «Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по Латыне, по Гречески и несколько по Еврейски. В семинарии прошел все нижние и верхние философские и богословские классы и был учителем Риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними Авторами преподданного, если знал он что есть Метафора, Антитезис и прочия риторическия фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел» (I, 164). Знакомство с этим

<sup>3</sup> Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1959, с. 64.

<sup>4</sup> Там же, с. 65.

знатоком ораторских приемов подтверждало для Радищева общее правило, его убежденность в бесполезности и ненужности риторики. «...хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики» (I, 387), — писал Радищев в «Слове о Ломоносове», с присущей ему решительностью отвергая нормативную эстетику. Писатель высказывает сомнение даже по поводу «Риторики» Ломоносова: «...тщетной его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить» (I, 387).

Отвергает ли Радищев в принципе необходимость учиться искусству слова? Как всегда, он предлагает нетрадиционный путь. По его мнению, учиться необходимо, но для этого нужно обращаться не к теоретическим пособиям, а к живым примерам — лучшим образцам красноречия. Поэтому, считая напрасным трудом работу Ломоносова над «Риторикой», Радищев делает уступку: «...но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся в след славы, словесными науками стяжаемой» (I, 387).

Мнение Радищева было высказано в ту пору, когда красноречие преподавалось в академиях и университетах Европы, когда незнание правил риторики воспринималось как невежество, в ту пору, наконец, когда Ломоносов был уже канонизирован и это накладывало неизбежный отпечаток на оценку всей его деятельности.<sup>5</sup> Широко распространенный взгляд на значение риторики был высказан русскими переводчиками книги Х. Блэра «Опыт риторики», которые писали: «Всяк должен признаться, что познание риторики составляет весьма существенную часть воспитания каждого благонравного юноши».<sup>6</sup>

Свою концепцию ораторского искусства предложил современник Радищева, профессор Лейпцигского университета Иоганн Август Эрнести, которого за превосходное знание латинского языка называли «немецким Цицероном». И. А. Эрнести (1707—1781) учился в Виттенберге и Лейпциге, серьезно занимался античной литературой, издавал ее классиков: Гомера, Цицерона, Тацита и др. С 1742 г. Эрнести был в Лейпцигском университете профессором древней литературы, с 1756 г. — профессором красноречия; сделавшись еще в 1759 г. профессором теологии, он вначале совмещал две специальности, а затем, с 1770 г., всецело занялся теологией. Эрнести называли «одним из самых знамени-

<sup>5</sup> См.: Кулакова Л. И. А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове. — В кн.: Литературное творчество М. В. Ломоносова. Исследования и материалы. М.—Л., 1962, с. 219—247.

<sup>6</sup> Опыт риторики, сокращенный большею частью из наставлений доктором Блером в сей науке преподаваемых. С английского языка на российский преложен А. К. и В. С. СПб., 1791, с. 4 (ненум.). «Лекции по риторике и изящной словесности» («Lectures on Rhetoric and Belles Lettres») профессора Эдинбургского университета Хью Блэра (Hugh Blair, 1718—1800) были опубликованы в 1783 г.

тых критиков, которых породила Германия», его научные заслуги были высоко оценены еще при жизни, все ученые общества стремились сделать его своим членом. Личные качества этого профессора, обыгрывая его фамилию, характеризовали следующим образом: «Эрнести был, разумеется, серьезен, мягкость его лица умеряла суровость, он был великодушен, благоразумен, хороший друг, терпим по отношению к другим; упрекнуть его можно только в чрезмерном самолюбии».<sup>7</sup> Как богослов Эрнести стоял на позициях «неологов», т. е. стремился дать историческое и филологическое прочтение Библии, примыкая таким образом к деистическому просветительскому направлению в теологии.<sup>8</sup>

Эрнести не упоминается среди лейпцигских учителей Радищева,<sup>9</sup> однако, как мы видим, в годы пребывания русского писателя в Лейпциге Эрнести преподает красноречие и теологию. В это время он уже один из маститых и авторитетных профессоров Лейпцигского университета. Написанное Эрнести руководство по риторике «*Initia rhetorica*», напечатанное в Лейпциге в 1750 г., приобретает широкую популярность, переиздается и становится на долгие годы общепризнанным пособием во всей Европе. В 1760-е гг. выходят два издания собрания речей Эрнести «*Opuscula oratoria, orationes, prolusiones et elogia*» (Leiden, 1762, 1767).

Трудно предположить, что русские студенты, учившиеся в это же время в Лейпциге, ничего не знали об Эрнести и его сочинениях. Представляется, например, вполне вероятным, что Ф. В. Ушаков посещал лекции Эрнести, и можно с почти полной уверенностью сказать, что он ознакомился с сочинениями латинских классиков по изданиям Эрнести. Радищев вспоминал: «Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, Федор Васильевич отменно прилежал к Латинскому языку. Сверх обыкновенных лекций имел он особья. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставало его беседующего с Римлянами. Наиболее всего привлекала его в Латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители Царей упругость своєю души изъявили в своем речении» (I, 179). Может быть, и Радищев слушал знаменитого Эрнести или, во всяком случае, был знаком с его трудами? Может быть, эти труды навели Радищева на скептические размышления относи-

---

<sup>7</sup> *Biographie universelle*, vol. 12. Paris, 1855, p. 563—565. Об Эрнести см. также: *Meusel J. G. Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller*, Bd 3. Leipzig, 1804, S. 156—166; *Allgemeine deutsche Biographie*, Bd 6. Leipzig, 1877, S. 235—241.

<sup>8</sup> См.: *Aufklärung*. Berlin, 1963, S. 44, 45, 390 (Erläuterungen zur deutschen Literatur).

<sup>9</sup> См.: *Старцев А. И. Университетские годы Радищева*. М., 1956; *Макогоненко Г. П. Радищев и его время*. М., 1956, с. 34—39; *Hoffmann P.* 1) *Russische Studenten in Leipzig. 1767—1771*. — In: *Deutsch-slavische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten*, Berlin, 1956, S. 337—348; 2) *Radišev in Leipzig*. — In: *Karl-Marx-Universität, Leipzig. 1409—1959. Beiträge zur Universitätsgeschichte*, Bd I. Leipzig, 1959, S. 193—207.

тельно пользы риторик? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо познакомиться с идеями самого Эрнести, проследить, как они воспринимались в России.

Имя и сочинения немецкого профессора были известны в России еще задолго до отъезда Радищева в Германию. В 1756 г. Н. Н. Поповский был определен профессором красноречия в Московском университете и, по сообщению С. П. Шевырева, «основания слога излагал он по Гейнекцию, риторикку по Эрнестию. Правда сей последней он объяснял частью примерами, почерпнутыми из писателей, частью своими практическими опытами».<sup>10</sup> Эти сведения подтверждаются и печатным «Объявлением, какие лекции и в которые дни и часы читаны быть имеют публично в императорском Московском университете в последнюю половину сего 1757 года».<sup>11</sup> Лекции Поповского, а затем сменившего его на кафедре красноречия в 1761 г. А. А. Барсова оказались школой, через которую прошли многие русские писатели и общественные деятели XVIII в. В частности, велика была роль этих профессоров в формировании эстетических взглядов и вкусов Д. И. Фонвизина.<sup>12</sup>

Интерес к трудам И. А. Эрнести сохраняется довольно долго. В 1793 г. в Москве появляется книга «Дар любителям наук, состоящий в пяти речах Ио. Августа Эрнести, которые с латинского на российский переложил М...С...А...П...И.П.». Книга посвящена митрополиту Платону, который в это время был директором московской Славяно-греко-латинской академии. Предположительно можно расшифровать буквы, скрывающие сведения о переводчике, так: «Московской Славяно-греко-латинской академии проповедник», или «переводчик», или «преподаватель»; буквы «И. П.» обозначают, очевидно, имя переводчика. Сопоставляя все имеющиеся данные о преподавателях Славяно-греко-латинской академии, можно предположить, что автором перевода был иеромонах Павел.<sup>13</sup>

Книге предпослано любопытное обращение переводчика «К благородному читателю» в стихах. Здесь содержится настолько

<sup>10</sup> Шевырев С. П. Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета, ч. II. М., 1855, с. 318.

<sup>11</sup> См.: Модзалевский Л. Б. Ломоносов и его ученик Поповский. (О литературной преемственности). — В кн.: XVIII век, сб. 3. М.—Л., 1958, с. 161—162.

<sup>12</sup> См.: там же, с. 157.

<sup>13</sup> Имена других преподавателей этого времени не подходят для зашифровки инициалами «И. П.». Вместе с тем сведения об иеромонахе Павле не противоречат гипотезе о принадлежности перевода именно ему. Павел учился в Ярославской семинарии, с 1783 г. преподавал там риторикку. В 1786 г. он пострижен в монашество; с 1789 г. — учитель элокевнции в Тверской семинарии и, наконец, в сентябре 1792 г. — иеромонах-проповедник Московской академии, в 1795 г. здесь же он определен префектом. Занимаясь преподаванием риторики и красноречия, Павел, естественно, мог заинтересоваться трудами Эрнести. О Павле см.: Смирнов С. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855, с. 364, 367.

интересная характеристика Эрнести, что приведем этот текст полностью:

Иоган Август Эрнест, кой слов сих автор был,  
Единым жизнь свою наукам посвятил.  
Рекой его словес весь Лейпциг напойлся.  
Оратор... Философ... так всяк об нем ручался!  
Мне мысль пришла его пять слов переложить,  
Отчеству любовь и музам чтоб явить.  
Не может перевод быть подлиннику равен,  
А посему нельзя, чтоб он и был всем нравен.  
Хотел, однако, я, когда переводил,  
Понятнее Эрнест учащимся чтоб был.  
А вы, которым нет в сем нужды переводе,  
Вы сами знаете, колик Эрнест в том роде,  
Един кой мудрыми витиями творит.  
Любезно вам, что так и росс его ныне чтит.<sup>14</sup>

Обращает на себя внимание, что заслуги Эрнести связываются прежде всего именно с областью красноречия, а не теологии. При этом восхищение переводчика вызывает Эрнести-оратор, а не Эрнести — автор риторики. Возможно, что такой подход подсказан самим содержанием речей Эрнести. Особенно замечательна в этом отношении «Речь II, говоренная пред вступлением в должность профессора риторики, 4 августа 1756 года», носящая подзаголовок «О том, что сердце делает нас красноречивыми».

Делясь со слушателями своими размышлениями о «правилах красноречия, начертанных великими мужами, и о причинах, силу и употребление их в сказывании речей», немецкий профессор признает справедливым высказывание Квинтилиана о том, что «прямое красноречие рождается от святости и великости духа и что сердечное чувство делает нас обильными в слове».<sup>15</sup> Это положение Эрнести развивает очень подробно: он предпочитает, чтобы речь «не была украшена пышными и отборными словами», но чтобы она имела «естественную красоту». На первом плане для этого теоретика красноречия — содержание, смысл, говоря его собственными словами, — «дух» речи. «Лучше мне желательно иметь в речи Цицеронов дух без его слов, нежели все слова без его духа»,<sup>16</sup> — вот кредо немецкого профессора.

Подобные идеи оказываются во многом чрезвычайно близки Радищеву. Сомневаясь в том, что можно научить искусству красноречия с помощью риторик, Радищев считает, что важно усвоить не внешние приемы, а самый дух речей выдающихся ораторов. Вспоминая о слове Платона Левшина на победу под Чесмою в 1770 г., писатель заявляет: «... тогда бы и я вещал к Ломоносову, зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце» (I, 390).

<sup>14</sup> Эрнести И. А. Дар любителям наук. М., 1793, с 7 (ненум.).

<sup>15</sup> Там же, с. 51—52.

<sup>16</sup> Там же, с. 58—59.

Сердце оратора, его нравственные качества — вот что в первую очередь определяет достоинства выступления, по мнению Эрнести, вот что решает в конечном счете успех или неуспех речи. Такой взгляд на ораторское искусство отчасти был выражением тех новых веяний, которые постепенно появлялись в европейской литературе XVIII в. в связи со становлением и развитием сентиментализма и преромантизма. Характерный для этих направлений интерес к личности писателя, его внутреннему миру, его душевному складу — все это по-своему отразилось даже в такой регламентированной области, как теория красноречия. В частности, упоминавшийся выше профессор риторики Х. Блэр порицал сухость и рассудочность английских проповедей, в которых, по его мнению, недостаточно участвует сердце.<sup>17</sup> Подобные же высказывания Блэра привлекли и внимание русских переводчиков, «преложивших» его сочинения на русский язык. «Чтобы сделаться убедительным оратором в народном собрании, — указывалось в разделе «Красноречие народных собраний», — главное правило, кажется, в том состоит, что человек должен быть всегда уверен в том, в чем он других уверить намерен».<sup>18</sup> В разделе «Церковное красноречие» говорилось: «Никакое познание для проповедника столько не нужно, как познание жизни и сердца человеческого».<sup>19</sup>

У немецких теоретиков XVIII в., несмотря на длительную приверженность большинства из них к «упорядоченности» в ораторской прозе,<sup>20</sup> также постепенно возникают новые критерии при оценке достоинств речи или проповеди. Позднее преромантические тенденции наиболее ярко обнаружатся в высказываниях И. Г. Гердера, касающихся ораторского искусства, в веймарский период его жизни (1776—1803).<sup>21</sup> Тем более интересны предваряющие эти тенденции суждения Эрнести, относящиеся к 1750-м гг. и сохранившие свою актуальность в течение нескольких последующих десятилетий.

Эрнести полагает, что «в каждом толковании ораторов, историков и самих даже пиит все надобно относить к доброму сердцу; его надобно возбуждать, питать, укреплять, сколько возможно».<sup>22</sup> Личные качества самого оратора приобретают первостепенное значение в глазах новых теоретиков красноречия. Эрнести считает необходимым посвятить целый пассаж рассмотрению «сердца оратора»: «Оно в несчастиях чужих и общественных несказан-

---

<sup>17</sup> Blair H. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, vol. II. Edinburgh, 1820, p. 13.

<sup>18</sup> Опыт риторики, сокращенный... из наставлений доктором Блэром... преподаваемых, с. 230.

<sup>19</sup> Там же, с. 253.

<sup>20</sup> См.: Stötzer U. Deutsche Redekunst im 17. und 18. Jahrhundert. Halle (Saale), 1962, S. 112.

<sup>21</sup> Там же, с. 92.

<sup>22</sup> Там же, с. 77.



ным терзается соболезнованием; а собственные злключения меньше его поражают. Оно сдается ревностью споспешествовать чужому счастью, особливо же общественному». <sup>23</sup> Эта характеристика, казалось бы, очень напоминает идеал писателя-гражданина, нашедший воплощение и в творчестве, и в самой жизни Радищева. Способность «уязвляться страданиями человечества», готовность жертвовать личным благополучием во имя общественных интересов — черты, наиболее ярко характеризующие автора «Путешествия из Петербурга в Москву».

Однако в этом случае речь может идти не о сходстве, не о соответствии точек зрения, а только об их довольно неожиданном соприкосновении. Эрнести никогда не изменял своей основной позиции — позиции вполне благонамеренного университетского профессора, почтительно склоняющегося перед авторитетом церкви и гражданской власти. Благочестие — самая главная добродетель в представлении Эрнести. Ревностный богослов, он даже считал, что «всех авторов сочинения, сколько возможно, должно сравнивать с священным писанием и показывать, сколько все то, что в нем ни содержится, преимуществует пред теми». <sup>24</sup>

Как профессору красноречия Эрнести часто предлагали выступать с похвальными речами, и он всегда находил лестные слова для прославления заслуг знатных людей города, получая за свои выступления щедрое вознаграждение. Это было вполне в порядке вещей, но именно такой обычай славословия вызывал решительное неприятие Радищева. Говоря об увлечении Ушакова латинскими классиками, писатель подчеркивал: «Не льстец Августов и не лизорук Меценатов прельщали его, по Цицерон, гремящий против Катилины, и колкой Сатирик, нещадящий Нерона» (I, 179). Очевидно, что и сам Радищев отдает предпочтение политическому красноречию и ценит в ораторской прозе прежде всего ее гражданственность.

Между тем в немецкой литературе XVIII в. трудно найти такие образцы красноречия. Исследовательница немецкой ораторской прозы XVII—XVIII вв. приходит к следующему выводу: «Обзор задач ораторского искусства в общественной жизни в течение XVII и XVIII столетий по сравнению с греческими и римскими риториками обнаруживает, что судебная и политическая речь не имела никакой действительной силы в раздробленной, феодально-абсолютистской Германии. Как во времена падения республиканских форм правления в Афинах и Риме, в Германии существует только юбилейная или надгробная речь, содержание которой преимущественно сводится к похвале». <sup>25</sup>

Дух немецкой ораторской прозы, дух, о котором так много говорил Эрнести, оказывался глубоко чужд и даже враждебен Ра-

<sup>23</sup> Эрнести И. А. Дар любителям наук, с. 56.

<sup>24</sup> Там же, с. 78.

<sup>25</sup> Stötzer U. Deutsche Redekunst im 17. und 18. Jahrhundert, S. 92—93.

дищеву. Его интерес к красноречию имел иной характер. Это отчетливо проявилось в отношении писателя к самому жанру похвального слова.

Первоначально «Слово о Ломоносове» было задумано как самостоятельное произведение, причем оно было озаглавлено вполне в духе традиции: «Слово похвальное Ломоносову». Затем, решив включить это сочинение в состав «Путешествия», писатель внес целый ряд изменений в текст «Слова». Сопоставляя разные редакции и анализируя характер правки, А. Г. Татаринцев замечает, что «Слово» «было выдержано вначале в умиротворяюще-патетическом духе, несколько диссонировавшем с общим тревожно-призывным, беспокойно-будоражающим пафосом книги».<sup>26</sup> Вместе с тем объединение «Слова» с другими главами «Путешествия» — факт, замечательный в нескольких отношениях. С одной стороны, это свидетельство гибкости избранного Радищевым жанра: в ткань основного произведения влетают довольно разные по характеру главы. При этом «Слово», так же как и ода «Вольность», сохраняет известную самостоятельность: оно может быть рассмотрено отдельно, взятое вне контекста других глав. С другой стороны, этот контекст существенно обогащает содержание «Слова», так же как и оно в свою очередь играет важную роль в композиции всего «Путешествия». Возможность такого органичного объединения предопределена общим характером и стилем радищевской книги, конкретнее — ее общей ораторской установкой. На эту особенность «Путешествия» обратил внимание Г. А. Гуковский, верно заметив об авторе: «... он проповедует больше, чем показывает <...> „Путешествие“, — пишет далее исследователь, — это страстный монолог, проповедь, а не сборник очерков. Автор не комплектует материал, а формирует его; наоборот, сюжетные куски, вставные новеллы — это или примеры, введенные в проповедь, или же орнамент».<sup>27</sup> При всем разнообразии отдельных глав книга выдержана в одном ключе: ораторские интонации явно преобладают. Поэтому в отличие от большинства других «путешествий» сочинение Радищева тяготеет к высоким жанрам. То, что было бы совершенно неуместно, например, в «Сентиментальном путешествии» Стерна, в книге Радищева оказывается вполне оправданным и даже закономерным: в текст включается ода и похвальное слово.

Знакомясь с теорией красноречия, писатель, как мы видели, мог принять некоторые общие принципы, пропагандировавшиеся лейпцигским профессором Эрнести. Однако на практике, при обращении к ораторской прозе, Радищев сталкивался с целым рядом проблем, которые можно было решить, опираясь только на отече-

<sup>26</sup> Татаринцев А. Г. «Слово о Ломоносове» А. Н. Радищева. (К проблеме творческой истории «Путешествия»). — В кн.: Вопросы русской и зарубежной литературы. Пермь, 1974, с. 30.

<sup>27</sup> Гуковский Г. А. Радищев как писатель. — В кн.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.—Л., 1936, с. 171—172.

ственные традиции. Прежде всего это важнейшая проблема языка. «Немецкий Цицерон» Эрнести в речи 1754 г. доказывал, что «философия и на латинском изящном языке может сделаться народною и что нет никакого различия в том, излагать ли ее по-латыни или на своем родном языке».<sup>28</sup> Тем более важно было выступление Н. Н. Поповского в 1755 г. с «Речью, говоренной в начатии философических лекций при Московском университете», произнесенной на русском языке. Поповский тем самым продолжал начинание Ломоносова, ратовавшего за создание отечественной культуры на родном языке.<sup>29</sup>

П. Н. Берков очень точно определил общее отношение Радищева к той части наследия Ломоносова, которая связана с историей русской ораторской прозы: «Внося существенные ограничения в оценку риторики и похвальных речей Ломоносова, Радищев все же высоко оценивает его роль как зачинателя русского светского красноречия, как создателя русского ораторского стиля».<sup>30</sup> Рассмотрим этот круг вопросов несколько подробнее.

Радищев видит в Ломоносове прежде всего «насадителя Российского слова»: «... доколе слово Российское, ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь» (I, 380). Эта одна из важнейших идей «Слова о Ломоносове» раскрывается при последовательном рассмотрении всех трудов Ломоносова. Радищев, казалось бы, признает значение ломоносовской «Риторики» лишь в одном смысле: «Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, а та и другая руководительницы, для осознания красот изречения творений твоих» (I, 387). Эта фраза очень существенна для понимания радищевского отношения к наследию Ломоносова. Отказываясь от непосредственных рекомендаций, содержащихся в «Риторике», Радищев внимательно вчитывается в нее, видя в ней своего рода авторский комментарий к художественным произведениям Ломоносова. Таким образом и осуществлялось обучение риторике — с помощью живого примера, в действительность которого Радищев верил. Пользуясь «Риторикой» для более углубленного понимания ломоносовских сочинений, автор «Путешествия» усваивал и самые принципы теории красноречия. Такой путь овладения ораторским искусством признавал по существу и сам Ломоносов, замечая в одном из первых параграфов «Риторики»: «Изучению правил следует подражание авторов, в красноречии славных, которое учащимся едва ли не больше нужно, нежели самые лучшие правила».<sup>31</sup>

<sup>28</sup> См.: *Шевырев С. П.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета, ч. II, с. 310.

<sup>29</sup> См.: *Модзалевский Л. Б.* Ломоносов и его ученик Поповский, с. 155.

<sup>30</sup> *Берков П. Н. М. В. Ломоносов об ораторском искусстве.* — В кн.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию. Сборник статей. М., 1956, с. 72.

<sup>31</sup> *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч., т. VII. М.—Л., 1952, с. 94. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Л., с указанием соответствующего тома и страниц.

Эту рекомендацию Радищев, однако, принял по-своему: он не столько подражал, сколько действовал от противного, полемизировал со своими предшественниками, вместе с тем опираясь на их опыт. Приступая к работе над «Словом о Ломоносове», писатель мог ориентироваться на определенный жанровый канон, созданный в русской литературе XVIII в. в соответствии с теоретической программой Ломоносова. Первый вариант его «Риторики» — «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1743) — оставался в рукописи вплоть до 1895 г. и едва ли мог быть известен Радищеву. Во втором, расширенном, варианте, опубликованном в 1748 г., — «Кратком руководстве к красноречию» — была закончена только первая книга; «оратории», т. е. ораторской прозе, Ломоносов предполагал посвятить целиком вторую книгу, и потому в печатную «Риторику» не вошли материалы, посвященные интересующему нас жанру. Вместе с тем, как совершенно справедливо замечает П. Н. Берков, «нельзя рассматривать Риторику Ломоносова вне связи с его собственным ораторским искусством».<sup>32</sup> «Слова» Ломоносова, вполне доступные Радищеву и высоко им оцененные, могли служить иллюстрацией к правилам, сформулированным как в первом, так и во втором варианте «Риторики».

Выделяя четыре вида «публичных слов», Ломоносов называл «проповедь, панегирик, надгробную и академическую речь» (Л., VII, 69). «Слово» Радищева по этой классификации можно отнести к панегирикам. Как было отмечено исследователями, Радищев объединяет «свойства, присущие двум разным типам панегириков, — „слову похвальному высокой особе“ и „слову похвальному действия достохвального“».<sup>33</sup> Между тем подобное объединение было довольно естественно, и Ломоносов допускал его в собственной практике. Так, например, «Слово похвальное блаженным памяти государю императору Петру Великому» (1755) содержит описание «похвальных жизненных свойств» Петра, как это и предусмотрено в «Риторике», и рассказ о его важнейших делах и о «преодоленных в них сильных препятствиях» (Л., VIII, 591). Все это в свою очередь относится уже к «похвале действия», где «исчисляются все трудности и препятствия, от места и от времени происходящие; представляется великость, польза и необходимая нужда оного» (Л., VII, 70).

Радищев сам подчеркивает новаторство своего «слова»: «Пускай, другие раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы, воспоем песнь заслуге к обществу» (I, 380). Писатель сознательно противопоставляет свое сочинение традиции, сложившейся в литературе XVIII в., решительно отвергая сервиллизм, казалось бы, узаконенный в таких жанрах, как ода

<sup>32</sup> Берков П. Н. М. В. Ломоносов об ораторском искусстве, с. 80.

<sup>33</sup> Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарий. Л., 1974, с. 237.

и похвальное слово. Комплиментарная часть в произведениях такого рода становилась необходимым общим местом: кому и чему бы ни посвящалось слово, важно было высказать традиционные похвалы в адрес царствовавшей особы. Выступая с похвальным словом Петру Великому, Ломоносов вынужден был говорить и о «достоинствах» Елизаветы: этого требовал литературно-бытовой этикет. Свою «Речь о пользе учреждения императорского Московского университета при открытии оного 1755 г. апреля 26 дня» А. А. Барсов начал с перечисления щедрот императрицы.<sup>34</sup> Подобные примеры легко можно было бы умножить.

Радищев не только отказывается от этого приема, но в свою очередь упрекает Ломоносова за следование «общему обычаю ласкати царям» (I, 388). Новое отношение автора к жанру похвального слова определяет и его необычную структуру. Особенно замечательна вступительная часть «Слова о Ломоносове». Оно начинается с лирического описания прогулки автора по Петербургу в белую ночь: «Приятность вечера после жаркаго летняго дня, выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь, и долго гулял в роще позади его лежащей. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи, едва, едва ли на синем своде была чувствительна» (I, 379). Включая в текст реминисценцию из Ломоносова («лице свое скрывает день»), Радищев строит вступление вовсе не по тем правилам, которыми считал нужным руководствоваться сам Ломоносов. В § 116 первого варианта «Риторике» предусматривалось до восьми способов сочинить вступление к речи (Л., VII, 66). Ни с одним из них не совпадает радищевский зачин. Писатель неожиданно начинает «Слово» с темы, характерной для преромантической литературы XVIII в.: уединенная прогулка, посещение кладбища, размышления о тленности, о смерти.<sup>35</sup> Однако в развитии этой темы у Радищева очень скоро появляются ораторские интонации, и за первым следует второе вступление к «Слову», причем оно строится уже по тем правилам, которые в свое время рекомендовал Ломоносов. Так, в «Риторике» самым первым указывался способ начать речь «от места или времени, предлагая, что ему (ритору, — Н. К.) в рассуждении оных говорить должно, прилично, нужно, полезно, трудно и пр.». Поводом для произнесения Ломоносовым речи Петру I было празднование дня коронации Елизаветы, и об этом говорится в первых же фразах «Слова». Соответственно посещение могилы Ломоносова служит толчком к созданию радищевского «Слова», о чем писатель и сообщает, приступая к теме. Принцип сохраняется тот же

<sup>34</sup> См.: Барсов А. А. Собрание речей, говоренных в императорском Московском университете при разных торжественных случаях. М., 1788, с. 5—6.

<sup>35</sup> Возможно, это был своеобразный отклик на переводы «Ночей» Э. Юнга, сделанные А. М. Кутузовым и напечатанные им в журнале «Утренний свет» в 1778—1780 гг.

самый, хотя обстоятельства различны и самый выбор обстоятельств отражает литературно-общественную позицию каждого автора. Для Ломоносова важно событие придворной жизни постольку, поскольку оно имеет общегосударственное значение, поскольку с ним связаны интересы всей страны. Так же, как и в одах, Ломоносов обращается к нации и говорит от ее имени. Современные исследователи показали, что в «высокой» поэзии Ломоносова присутствует индивидуальное начало, но основное внимание поэта сосредоточено на изображении не частного, личного, а общезначимого, общенационального.<sup>36</sup> Эти наблюдения вполне применимы и к ораторской прозе Ломоносова.

Между тем для Радищева личный момент имеет принципиальное значение, отсюда и камерный характер первого вступления, отсюда и неожиданное обращение во втором вступлении к своему другу: «Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Приди беседовати со мною о великом муже» (I, 380). Это не только риторический прием, но и одно из звеньев, связывающих «Слово о Ломоносове» с текстом всего «Путешествия», посвященного тому же «любезнейшему другу» А. М. Кутузову. Авторское «я» оказывается у Радищева более индивидуальным, более конкретным, чем у Ломоносова. Но Радищеву во многом было близко представление Ломоносова о том, какими качествами должен обладать автор. «Что до состояния самого ратора надлежит, — говорилось в печатном издании «Риторики», — то много способствует к возбуждению и утолению страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестливый человек, а не легкомысленный ласкатель и лукавец; 2) ежели его народ любит за его заслуги; 3) ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не притворно их страстными учинить намерен; 4) ежели он знатен породю или чином; 5) с важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и повелительство некоторым образом дает сама натура» (Л., VII, 168). Кроме двух последних пунктов, все остальные, очевидно, могли быть приняты Радищевым. Иногда он даже прямо следует за Ломоносовым, декларативно заявляя о своих чувствах, которые он стремится передать слушателям: «Сие изрек я в восторге» (I, 380). В соответствующем пункте «Риторики» шла речь о такой фигуре, как «восхищение»: «Восхищение есть когда сочинитель представляет себя как изумленна в мечтании, происходящем от весьма великого, нечаянного или страшного и чрезъестественного дела» (Л., VII, 284). Тут же приведены многочисленные примеры из од самого Ломоносова. В «Слове» Радищев не пренебрегает даже таким ораторским приемом, как намеренное умаление своих возможностей: «Если бы

---

<sup>36</sup> Эта проблема, поставленная в нашей науке в последнее десятилетие, получила новое освещение в кн.: *Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П.* Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976.

силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждыя» (1, 382). Одновременно писатель применяет здесь прием, названный в «Риторике» «прохождением»: «Прохождение есть когда притворяемся, якобы мы говорить о чем не хотели, однако тем самым оное живо представляем» (Л., VII, 276).

В «Слове о Ломоносове» с наибольшей полнотой отразилась зависимость Радищева от традиций ораторского искусства, утвердившихся в русской литературе со времен появления «Риторики». Но особенность радищевского творчества состояла в том, что эти традиции оказывались действены не только в жанре «слова».

И в «Письме к другу, жительствующему в Tobольске», и в «Беседе о том, что есть сын отечества», и в «Житии Федора Васильевича Ушакова», и, наконец, во всех главах «Путешествия из Петербурга в Москву» присутствует тот же ораторский элемент. Проявляется он в основном двойным образом. Прежде всего можно выделить в тексте этих произведений отрывки, представляющие собой вставные речи, произносимые отдельными персонажами. Так, например, друзья Ушакова, отговаривающие его от поездки в Лейпцигский университет, выдвигают целую группу аргументов, расположенных очень стройно и подкрепленных многочисленными риторическими фигурами, соответствия которым можно найти в ломоносовской «Риторике». Характерно, что именно этот отрывок, передающий речь друзей Ушакова, особенно славянизирован по сравнению с остальным текстом «Жития» («поженут тебя да оставишь ристание им свободно» и др.).

Помимо такого проникновения ораторской прозы в текст радищевских сочинений, был и другой путь: независимо от избранного жанра сам автор, подобно Мирабо, превращался в страстного трибуна, говорящего перед широкой аудиторией. В этом отношении таким примером может служить «Письмо к другу, жительствующему в Tobольске». Назвав свое сочинение письмом, Радищев хорошо воспользовался той свободой, которую мог представить ему этот жанр, приобретший большую популярность во второй половине XVIII в. (романы в письмах, стихотворные послания и т. д.). Здесь есть драгоценный для Радищева личный, даже автобиографический мотив: воспоминание о днях юности, проведенных вместе с другом, к которому обращено письмо.<sup>37</sup> За лирическим вступлением следует собственно повествовательная часть: описание открытия памятника Петру I. В это описание вторгается страстный авторский монолог, насыщенный ораторскими приемами. Писатель начинает с обращения, «сея вели-

---

<sup>37</sup> Как установил А. И. Старцев, «Письмо» адресовано товарищу Радищева по Лейпцигскому университету С. Н. Янову; см.: *Старцев А. И. Университетские годы Радищева*, с. 170—189.

колепные, сильные и слово оживляющие фигуры», по выражению Ломоносова (Л., VII, 266). Радищев как бы выступает со своей речью о Петре, продолжая тему Ломоносова и в то же время полемизируя с ним. Особое внимание писателя, очевидно, привлекла заключительная часть ломоносовского «Слова похвального». «С кем сравню Великого Государя?», — спрашивает оратор, развивая свою мысль в развернутом ответе: «Я вижу в древности и в новых временах Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром малы» (Л., VIII, 611). Ломоносов перечисляет заслуги и добродетели разных государей, чтобы подчеркнуть превосходство Петра, который уподобляется в конце концов божеству. «За великие к отечеству заслуги назван Он Отцем Отечества, — продолжает Ломоносов. — Однако мал ему титул. Скажите, как Его назовем за то, что Он родил Дщерь всемилостивейшую, Государыню нашу?» (Л., VIII, 611). Таким образом, превознося Петра, оратор очень искусно переходит к традиционной славословию царствующего дома.

Радищев отчасти повторяет Ломоносова: «Петр по общему признанию наречен Великим, а Сенатом — Отцем Отечества. Но за что он может Великим назваться» (I, 150). Далее следует перечень правителей, которые «изступили из числа людей обыкновенных услугами к Отечеству». Однако в отличие от своего предшественника Радищев использует это сопоставление совершенно по-другому. Он замечает, что упомянутых им властителей «ласкательство великими называет», в то время как Петр «мертв, а мертвому льстити невозможно!» (I, 151). Выделение Петра из ряда других государей происходит не по количественному принципу, как у Ломоносова (Петр сделал больше, чем все другие), а по качественному: посмертная слава Петра — доказательство его истинного величия. Верный своим радикальным убеждениям, Радищев завершает свое сочинение не хвалой «преемнице престола», а совершенно противоречащим ломоносовской концовке смелым заявлением о том, что нет примера, «чтобы Царь упустил добровольно что либо из своей власти, седей на Престоле» (I, 151).

Так же, как и в других сочинениях Радищева, в «Путешествии» можно выделить и речи персонажей, и ораторские страницы, написанные от лица автора.

Самый принцип включения речей в рамки повествовательного произведения был не нов. В частности, этот прием был применен в романе Ж. Террассона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского», переведенного Д. И. Фонвизиным. В оригинальном творчестве Фонвизина, в его драматургии этот прием получил дальнейшее применение.

Остановившись на жанре путешествия, Радищев самостоятельно решал композиционно-стилистические проблемы, связанные с введением ораторской прозы в ткань повествования. Стремясь охватить самые разнообразные сферы общественной жизни,



автор «Путешествия» как бы распределяет отдельные темы между несколькими персонажами. Крестьянкин произносит речь о правосудии, крестикский дворянин — о воспитании, автор «Проекта в будущем» — о необходимости государственных реформ; наконец, «Слово о Ломоносове» выдается за сочинение тверского стихотворца. Каждый из этих персонажей «Путешествия» во многом близок самому Радищеву и, подобно фонвизинскому Стародуму, как правило, высказывает авторские идеи. Почти все ораторы только говорят, но не действуют, и представление о них складывается в основном по их выступлениям и довольно скупым авторским характеристикам. Знакомя читателя с Крестьянкиным, своим «давнишним приятелем», автор замечает: «Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое» (I, 269). Этот краткий отзыв дополняется словами самого Крестьянкина. Рассказывая о тщетных попытках «сотоварищей» разубедить его, он поясняет: «Сердце мое им было неизвестно. Незнали они, что нетрешетен всегда предстою, собственному моему суду, что ланиды мои нердели багровым румянцем совести» (I, 276). Более бегло обрисован крестикский дворянин. Автор упоминает, однако, о его внешности, отражающей нравственный облик этого человека: «Правильныя черты лица его, знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием раждаемаго, изрыла ланиты его ямками <...>. Очи его, очи благотвореннаго разсудка, казались подернуты легкою пленною печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно» (I, 283). Наконец, об авторе «Проекта в будущем» читатель узнает, что этот «гражданин будущих времен» — «искренний друг» Путешественника, что во всех его сочинениях обнаруживаются «расположения человеколюбивого сердца».

Можно заметить интересную закономерность: как ни кратки эти характеристики, неизменное внимание уделяется «сердцу оратора». При этом между всеми ораторами оказывается очень много общего: это люди одного типа, они человеколюбивы, тверды в своих убеждениях; с Путешественником их связывает дружба или чувство взаимной симпатии. Даже возраст их примерно одинаков: «около пятидесяти» и крестикскому дворянину, и «гражданину будущих времен»; к тому же поколению принадлежит, по всей видимости, и Крестьянкин, который «долго находился в военной службе», затем перешел в штатскую, а в момент рассказа уходит в отставку (во всяком случае, он не молодой человек: его недоброжелатели припоминают, что «он сам в молодости своей изволил ходить за сохою»). Самому Радищеву, как известно, было около сорока лет, когда он завершал работу над «Путешествием», и возрастная «надбавка» близким автору героям — довольно любопытный штрих, невольно возвращающий к ломоносовской характеристике оратора.

Значительный интерес представляет и вопрос о том, к кому обращены речи радищевских персонажей. Проблема слушателя

в современной писателю ораторской прозе становилась все более животрепещущей. С одной стороны, становилась очевидной необходимость ориентироваться на ту аудиторию, перед которой выступал автор со своим «словом». С другой — задача ратора состояла в том, чтобы завоевать внимание и доверие слушателя, привлечь его на свою сторону.

Большинство радищевских героев обращается к своим друзьям, «сочувственникам». В качестве такого слушателя очень часто оказывается и сам автор: он вспоминает, например, речь Крестьянкина, произнесенную им при вступлении в гражданскую службу. Это именно речь, хотя произносится она не перед широкой аудиторией, а в личной беседе двух друзей. Монолог Крестьянкина приобретает черты публичной речи, предназначенной для многих, и самое обращение «мой друг» становится чисто риторическим.

Аналогичная ситуация и в главе «Крестьяцы», где любящий отец произносит свою речь о воспитании в присутствии троих слушателей: двух его сыновей, которых он также называет «друзья мои», и «чувствительного путешественника», безмолвного свидетеля сцены.

Иногда Радищев сталкивает разные точки зрения, приводя речи pro и contra. Так, в главе «Зайцово» можно проследить цельный ораторский поединок. Служивцы Крестьянкина выступают с доводами, опровергающими его «крамольные» мнения. Далее упоминается о речи Наместника, который «избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеялся, что тем разительнее убедит» непокорного подданного. Крестьянкин выступает с ответной речью, страстной и полемически заостренной. Этот эпизод можно рассматривать как осуществление принципа, предусмотренного в «Риторике» Ломоносова и названного им «расположение по разговору». «В прекословных разговорах, — писал Ломоносов, — предлагаются два спорные между собой мнения, которые двое каждый свое защищают» (Л., VII, 333). В качестве примера приводится назидательный «Разговор Эразма Роттердамского». Спокойный, размеренный тон, свойственный этому жанру, решительно не подходил Радищеву: он сталкивает не собеседников, а ораторов, спор которых приобретает широкий общественный резонанс. Несмотря на внешнее поражение, Крестьянкин выигрывает словесный поединок, причем именно потому, что его речь идет от «содрогавшегося сердца». О речи Наместника дает представление следующая фраза: «...надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство» (I, 277). Крестьянкин же, начав говорить хладнокровно, постепенно увлекается, речь его становится порывистее, и в конце концов он уже не говорит, а «вопит».

«Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, — указывалось в той же ломоносовской «Риторике», — и страсти не могут от них возгореться; и для того с высокого седалища разум к чувствам свести должно и с ними со-

единить, чтобы он в страсти воспламенился» (Л., VII, 170). Едва ли это замечание могло пройти мимо внимания Радищева, который неизменно стремился апеллировать к чувству читателя или слушателя. Из всех страстей, о которых упоминает Ломоносов, в «Путешествии» преобладает гнев — отсюда и обличительный пафос книги.

Вместе с тем, как справедливо указал А. П. Скафтымов, «пафос „Путешествия“ не в риторическом обнаружении чувства, а в риторическом, эмоционально насыщенном *доказательстве*».<sup>38</sup> Анализируя стиль радищевской книги, исследователь замечает, что вопросительные и восклицательные предложения имеют здесь преимущественно логическое значение. А. П. Скафтымов подтверждает свои наблюдения сопоставлениями с соответствующими параграфами ломоносовской «Риторики».

Радищев весьма традиционен и в использовании риторических фигур, которыми в равной мере насыщены и речи персонажей, и монологи автора. По существу стилистических различий между ними не существует, и ни одному оратору невозможно дать индивидуальной характеристики, основанной на анализе его языка и стиля. Все речи в «Путешествии», как правило, выдержаны в одном ключе, все они ориентированы на высокий жанр. «Ораторские страницы Путешествия Радищева, — писал Г. А. Гуковский, — славянизированы гуще, чем это было даже в высоком штиле у Ломоносова. При этом они славянизированы нарочито, подчеркнуто».<sup>39</sup> Автор «Путешествия» по существу следует теоретической программе, намеченной Ломоносовым во второй части «Риторики», — «О украшении». «Что до чтения книг надлежит, — высказывал Ломоносов свои рекомендации, — то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу» (Л., VII, 237). К тем же источникам обращался спустя несколько десятилетий и Радищев. По воспоминаниям Н. А. Радищева, писатель «прилежал к изучению русского языка, руководствуясь священными книгами, почему и во всех своих сочинениях придерживался славянских оборотов и даже употреблял много славянских слов».<sup>40</sup>

Такие ломоносовские понятия, как «великолепие» и «сила» слога, были немаловажны для автора «Путешествия». Ораторские страницы книги изобилуют «тропами речений и предложений», которыми, по мысли Ломоносова, украшается слово. Употребляя риторические фигуры, Радищев, разумеется, был далек от того, чтобы изобретать их по готовым рецептам, преподносимым «Ри-

---

<sup>38</sup> Скафтымов А. П. О стиле «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. — В кн.: Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, с. 102.

<sup>39</sup> Гуковский Г. А. Радищев как писатель, с. 187.

<sup>40</sup> Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. Подгот. текста, статья и примеч. Д. С. Бабкина. М.—Л., 1959, с. 41.

торикой». Процесс усвоения ломоносовского трактата был гораздо сложнее: определения отдельных фигур и тропов создавали в своей совокупности общее представление о богатстве и разнообразии ораторских приемов. Внимательно вчитываясь в тексты речей самого Ломоносова и переведенных им античных авторов, Радищев улавливал основные теоретические принципы красноречия и творчески применял их в своей литературной практике.

Нередко Радищев употреблял риторические фигуры, предусмотренные в теории Ломоносова, но с новыми смысловыми оттенками. Так, в разделе о «фигурах предложений» много места уделялось обращению. «Сею фигурою можно советовать, засвидетельствовать, обещать, грозить, хвалить, насмехаться, утешать, желать, прощаться, сожалеть, повелевать, запрещать, прощения просить, оплакивать, жаловаться, просить, повелевать, сказывать, толковать, поздравлять и проч.» (Л., VII, 267). Многочисленные примеры давали образцы разных типов обращения. У Радищева эта фигура нередко приобретает функцию, не упомянутую в странном перечне Ломоносова. Радищевское обращение обличает, клеймит: «Варвар! недостойн ты носить имя гражданина» (I, 325); «Должность ли твоя людей убивать, скаредной человек?» (I, 240); «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем?» (I, 378); «Жестокосердый помещик, посмотри на детей крестьян, тебе подвластных» (I, 378). В таких обращениях, как бы ведущих лобовую атаку, проявляется тираноборческий пафос радищевского красноречия, и прием этот стал впоследствии одним из самых популярных в декабристской публицистике и поэзии.

Радищев решительно расходился с Ломоносовым, считая некоторые его рекомендации не вполне приемлемыми. В главе «О течении слова» автор «Риторики» советовал «обегать непристойного и слуху противного стечения согласных», которые «язык весьма запинают» (Л., VII, 240). Радищев считал большим достоинством «благогласие речи», отличающее «слова» Ломоносова. Однако сам писатель не стремился к этому «благогласию», напротив, он даже защищал «шероховатость» речи. В главе «Спасская Полесь» Истина предостерегает монарха от нравственного ослепления: «Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои невозмутятся стенами; но усладится слух сладкопением жечасно. Жертвенный курения обыдут на лесь отверстую душу. Зязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда пераздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Возтрепещи теперь за таковое состояние» (I, 253). Известное разъяснение автора по поводу «негладкости» стиха из оды «Вольность» подтверждает приведенное выше высказывание Радищева. «Шероховатость» речи отстаивается им как принцип, противостоящий традиционному стремлению к «благогласию». Участи с этим связана и чрезмерная славянизация языка «Пучешества», его затрудненный синтаксис.

Очевидно, таким образом, что в каком бы аспекте мы ни стали рассматривать ораторскую прозу Радищева, неизменно обнаруживается ее соприкосновение с ломоносовской практикой красноречия. Имея в виду прежде всего Ломоносова, Г. А. Гуковский верно заметил о Радищеве: «Он крепко связан с традициями русского искусства даже тогда, когда он борется с ними».<sup>41</sup> Эти традиции во многом определяли и отношение писателя к литературе и эстетике современной ему Европы. Критически переосмысливая труды по теории красноречия, созданные авторами риторик XVIII в., Радищев выдвигал свою собственную, оригинальную концепцию ораторского искусства, нашедшую непосредственное отражение в его художественной практике.

---

<sup>41</sup> *Гуковский Г. А. Радищев как писатель*, с. 161.